

Александр ЛЮБИНСКИЙ

---

# ВИНОГРАДНИКИ НОЧИ

Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2011

УДК 821.161.1  
ББК 84(2)6-4  
Л93

**Любинский А.**

Л93 Виноградники ночи / А. Любинский. — СПб. : Алетейя, 2011. — 248 с.

ISBN 978-5-91419-390-1

Роман «Виноградники ночи» посвящен Иерусалиму — центру мира, эпицентру непрекращающегося раздора. Рассказ о судьбе вечного странника, оказавшегося в Иерусалиме начала XXI века, переплетается с повествованием об Иерусалиме сороковых годов прошлого столетия, где сталинская империя начинает прибирать к рукам утерянные было обширные владения царской короны; где «красная» и «белая» церкви, еврейские подпольщики и секретная служба Британии ведут борьбу за власть над городом. Автор создает яркие образы Иерусалима и действующих лиц этой драмы.

Повесть «Фабула» сюжетно и тематически связана с романом: она рассказывает о юности старшего поколения семьи главного героя, путь которой тянется от маленького местечка времен Гражданской войны — через Москву — в Иерусалим.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2)6-4

ISBN 978-5-91419-390-1



9 785914 193901

© Любинский А., 2011  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011  
© «Алетейя. Историческая книга», 2011

## ВИНОГРАДНИКИ НОЧИ

Я заметил ее, когда открывал ворота американцам. Она встала за толстяком лет шестидесяти с отвисающим животом и в кипе, последним в образовавшейся толкучке у ворот. Из-за пояса у толстяка торчала рукоять пистолета, чтобы все знали: он приехал на неделю в свою страну, и жалким палестинским террористам его не запугать.

Перед тем, как выйти, американцы еще немного повопили, похлопали друг друга по спинам и плечам, а она стояла со скромным достоинством и тихо ждала. Наверное, потому я и обратил на нее внимание. Помнится, в тот день был сильный ветер в Иерусалиме, и она поддерживала одной рукой широкополую соломенную шляпу, а в другой сжимала разноцветный китайский зонтик. Она подождала, пока толстяк, проскрипев «Танк ю», выйдет на улицу, и прошла мимо меня, слегка склонив голову, раскрыв в полуулыбке красивые полные губы. Тогда я решил, что она улыбается мне и, как обычно делаю в подобных случаях, вежливо поклонился в ответ. Но теперь я думаю, что ее улыбка предназначалась не мне. Просто ей было приятно выйти на улицу, когда жара спала, когда ветер, предвестник перемены погоды, подбрасывает вверх ветви огромного клена возле дома и ловит их в невидимую сеть, ерошит листья, и они посверкивают на свету, а тени стали резкими, удлинились, и все вытягиваются, вытягиваются, протянулись уже вдоль всей улицы Невиим и достигли стен Старого города.

Но она не отбрасывала тени! Я это заметил не сразу, но только когда хасид в черном пиджаке и черной шляпе, тревожно скользивший меж тенями, чтобы (не дай Бог!) не наступить на них, не обратил на нее никакого внимания. Была она одета в шелковое платье с накладными плечами по моде тридцатых годов, но сквозь платье просвечивало не тело, как должно быть, когда косые лучи солнца летят вдоль тротуара и отмечают, чего бы ни коснулись, границы ночи и дня — нет, они проникали ее насквозь и лишь стена бывшей больницы Ротшильда задерживала их стремительный бег.

Она раскрыла зонтик и неторопливо двинулась по улице. Близился вечер и раскрытый зонтик выглядел неуместно. Впрочем, возможно, он предназначался вовсе не для защиты от солнечных лучей, но был предметом туалета, поскольку образ в шелковом платье и соломенной шляпе утратил бы без него свою цельность. Мне понравилась эта ее манера

идти, никого не задевая. Я подумал, как это замечательно, быть в толпе, но как бы вне ее. Может быть уже совсем скоро, лет через пятнадцать-двадцать, годы летят быстро, и я вот так — медленно и очень тихо — пройду по улице Невиим.

Она дошла до угла, где напротив старой йеменской фалафельной вознесся многоэтажный белый дом, и остановилась. Отсюда ведут две дороги: одна — вниз к Старому городу мимо бывшей резиденции эфиопского императора и монастыря в стиле итальянских палаццо, другая же, если повернуть направо, приведет к Сергиеву подворью — особняку, построенному для русских паломников в конце позапрошлого века, и дальше — к огромному православному собору, похожему на разбухший каравай. Это место называется Русское подворье, Миграш ха-русим.

Она, наконец, решила и свернула направо в узкий проулок, ведущий к Миграш ха-русим. В тот день я ее больше не видел.

На площадку перед домом вышел Стенли и посмотрел на меня. Вернее, он посмотрел в сторону ворот, а по мне скользнул взглядом как по некоему их обязательному дополнению. Он так вот по несколько раз в день, если посетителей мало, выходит во двор и смотрит на ворота, словно гипнотизирует их, словно они от его взгляда должны распасться и явить его взору посетителей — можно двух-трех, но лучше, чтобы подъехал огромный «Икарус» и из него высыпали бы человек пятьдесят, и все они, во главе с озабоченно-потным экскурсоводом прошли — один за другим — сквозь мои ворота и их поглотила душная, пропахшая дымом полутьма, где над очагом жарятся на веретелах огромные куски говядины и баранины, цельные гуси и курицы, и особые сосиски, плотно набитые требухой, которые Стенли заказывает в лишь ему одному известном месте. Приезжают, приезжают «Икарусы», но ведь и они устают, и им нужен отдых, не могут они приезжать каждый день!

Стенли вкрадчив и движется неслышно как рысь, готовящаяся к прыжку. Он выглядит молодцом в свои семьдесят лет: аккуратен, подтянут, его посверкивающие глазки замечают все, он тихо и властно руководит своим маленьким хозяйством, появляясь, как опытный полководец, в тех местах, где он в данный момент более всего нужен. К примеру, это может быть кухня, где огромный толстый Али в грязном белом халате вместе со своими родичами Фаядом и Махмудом колдует над изготовлением нового торта. Стенли отрезает ломтик, надкусывает его и, вперив невидящий взгляд в закопченный потолок, думает... «Может, стоит добавить кардамон?» — спрашивает он у Лены, передавая ей ломтик, облитый поверху шоколадом. От жары шоколад быстро плавится, и потому

указательный и большой пальцы Стенли — в коричневых жирных подтеках. Лена отправляет в рот весь кусок и говорит: «Не-а, все нормально... Зачем?». Стенли задумчиво кивает головой. Он уважает мнение Лены, но окончательное решение должен принять он... И все стоят — Лена, Али, Фаяд, и Махмуд, и я стою, поскольку оказался рядом по случаю. Я хочу спросить, не пора ли отпустить меня, ведь в зале уже никого нет, охранять мне некого. Я тоже жду и смотрю на Стенли... Но вот он чуть заметно кивает головой, Али выпускает глубокий облегченный вздох, молодой Фаяд в майке с выцветшей надписью «ФБР» нервно смеется, Махмуд спешит на задний двор, где его ждали совок и метла, а Лена, тихо напевая, продолжает прерванную уборку стола. Даже для меня находится время, и Стенли говорит: «Кэн, Жения, ата яхоль лалехет», что означает: «Да, Жения, ты можешь уйти».

Я сижу у ворот целый день. Иногда встаю и прохаживаюсь по маленькой площадке, от которой ступени ведут вверх к дому — два шага вправо, два шага влево, да от загородки до железных голубых перил, нависших надо мной — еще шага полтора. Днем из-за солнца я не могу долго ходить, и тогда сажусь в тень под куст акации. Я сижу на разогретом пластмассовом стуле и смотрю на арабский особняк из белого камня, где Стенли устроил ресторан, а потом — на огромный клен. Он не принадлежит Стенли, поскольку находится уже на соседнем участке, как и двухэтажный дом с выломленными рамами и прогнившим балконом — там никто не живет.

Я обрадовался в тот день, когда увидел ее, тихо стоящую за толстым американцем, поскольку она совсем не походила на нынешних обитателей особняка и его посетителей, а ее длинное шелковое платье, шляпа и разноцветный зонтик прекрасно смотрелись на фоне белого камня и узких окон, скрытых от палящего солнца зелеными железными ставнями. Теперь я припоминаю, что во дворе у ворот она была совсем непрозрачна — наоборот, я видел совсем близко ее лицо с крупным носом и чувственным изгибом губ, а когда она прошла мимо меня, пахло сладковатым запахом духов. Размышляя об этом, я прихожу к неизбежному выводу, что между нею и домом существует некая связь, род гравитационного поля. (Впрочем, за то, что оно гравитационное, я поручиться не могу, как, и за то, что речь идет о поле, поскольку я никудышный физик, и никогда не понимал, о чем, собственно, речь — вместо поля мне почему-то всегда представляется болото с гнилой трясинкой, чавкающей под ногами). Но несомненно: близость к дому делает ее плотной, можно даже сказать, осязаемой, тогда как по мере удаления от него она утрачивает массу и вес.

Пусть тогда особняк и будет принадлежать ей, а Стенли я переселю в соседний. Она будет жить здесь лет шестьдесят назад рядом со Стенли в соседнем доме.

Душно. С улицы накатывает слитный гул — машины, автобусы, мотоллоеры непрерывным потоком движутся по Невиим. Напротив, у проходной бывшей больницы Ротшильда, в которой ныне разместился Технологический институт, стоит лысый пожилой охранник и, позевывая, поглядывает вдоль улицы. Ему скучно, террористов нет, он уже и ждать их устал, а пистолет у пояса натягивает ремень так, что тот врезается в тело. Я поправляю пистолет, заталкиваю его поглубже в фирменные серые брюки, поскольку он может выпасть. Он у меня выпал однажды, когда по неопытности я слишком далеко вытянул рукоятку наружу. Удар о камень получился сильный, патронник выскочил, пули рассыпались. Я долго вталкивал их обратно и, наконец, после минут двадцати изматывающей борьбы — пули то и дело выскакивали из рук и падали на землю — смог защелкнуть замок патронника. Почувствовав чей-то взгляд, я поднял голову: охранник на противоположной стороне улицы, приоткрыв от напряжения рот, смотрел на меня. Я помахал ему рукой, мол, ничего страшного, с кем не бывает.

Охранник ждет сменщика, он почти уже отстоял, отходил, отзевал свои восемь часов, а я только начал позевывать. Голова тяжелеет, вот-вот упадет на грудь, веки наливаются дремой, я с трудом раздираю их — и вижу ее. Но только не во дворе особняка, а на дачной веранде. Она сидит вполоборота к столу, расставив разбухшие неповоротливые ноги, прикрытые сатиновым платьем, и ест малину. Я собрал ее в звонком утреннем саду, отгибая ветви, стараясь не пораниться о колючки, срывая ягоды, спрятавшиеся во влажной от росы тенистой глубине, и только те, которые налились бордовой сладкой влагой; некоторые уже слишком тяжелые и мягкие, и когда я пытаюсь сорвать их, они выскальзывают и падают на землю. Я не подбираю их. Другие еще тверды, они ждут своего часа, и я запоминаю их места — к завтрашнему утру они должны дозреть...

Я собираю ягоды в большую жестяную кружку с прогнутым дном. Она стоит на скамейке возле плиты, рядом с ведром, которое должно быть все время полно водой, и потому по несколько раз в день я беру ведро, ставлю под гнутую толстую трубу и, ухватившись обеими руками за ржавый журавль колодца, с силой толкаю его вниз. Поначалу труба сипит, в глубине что-то чавкает, полнится, наливается силой, и вот уже журавль тяжелеет; навалившись всем телом, я опускаю его, из трубы в днище ведра бьет струя, а потом еще и еще, капли летят в стороны,

падают на деревянные доски колодца — они всегда, даже в самую жару, прохладны, потому что холодом и влагой тянет из глубины.

Малину я собираю для нее, ведь она перемещается с трудом даже с веранды на кухню. Добравшись до конца забора, вдоль которого растут кусты, бегу к веранде, где она уже сидит и ждет, а потом ест — медленно, с разбором, выбирает ягоды посочней, взгляд мутнеет, полные губы, обычно синевато-венозные, наливаются темно-бордовой кровью...

В привычном однообразном шуме улицы я различаю резкие обертонны. Вздрагиваю, разлепляю веки. Двое остановились на улице возле ворот и, громко переговариваясь, дергают за ручку. Вскикиваю, открываю, задаю положенные вопросы, проверяю у дамы — сумочку, у мужчины — рюкзак. Закрываю ворота, снова сажусь на стул. Душно. Над городом зависло темно-желтое марево, но ветви клена начинают уже перешептываться, еще немного, и они дружно взропщут, небосвод потемнеет, ветер погонит по улице песчаную пыль, на каменных плитах двора закружат опавшие, обожженные жарой лепестки — они падают с кустов, высаженных вдоль забора, покрытых фиолетовыми крупными цветами. Каждое утро Махмуд собирает их в совок вместе с сигаретными окурками, грязными салфетками, фантиками — ошметками вчерашнего вечера, но они снова устилают камень двора, и Махмуд, устало бормоча под нос арабские ругательства, все подбирает и подбирает их.

Да, веранда, малина... Темная туча, закрывшая солнце, первые тяжелые капли дождя. Она подымается, спускается по разошедшимся ступеням в сад, снимает с веревки, протянутой между деревьев, трепещущее, белое, рвущееся из рук. Она совсем непохожа на женщину с китайским зонтиком, которая однажды бесшумно прошла мимо меня. И все же, эти крупные черты лица, очерк полного тела... Словно детская раскраска, где слабыми линиями намечен контур, и ты сам должен придать зрячесть глазам, нарисовав два темных обода со светлыми точками посередине, не забыть о красивых длинных ресницах, они у меня — от нее, и губы. Та, другая, двигалась легко, она ведь не заболела тромбофлебитом после мучительных родов, не состарилась раньше времени, у нее была другая жизнь.

Стенли открывает дверь и двумя руками дает отмашку, мол, хватит, все, отпускаю тебя на свободу. И правда, сегодня днем было мало посетителей. Лена за стеклом веранды тосковала, полировала до блеска бокалы, переставляла и поправляла тарелки на столах, и даже принялась от скуки писать кому-то письмо. Беру рюкзак, открываю ворота на улицу — теперь они могут быть раскрыты — выхожу на Невиим, по которой в обе стороны неуклонно и непрерывно, как муравьи по разогретому пори-

стому камню, движутся арабы: группки молодых нахальных подростков, тяжеловесные матроны с мужьями и детьми... Три тоненькие девушки с еще не покрытыми волосами выходят из проходной института и тяжелый взгляд лысого охранника останавливается на них... Кончилась интифада, но вражда не утихла, в любой момент огонь, полыхающий где-то в темных недрах, может вырваться наружу — так тянет дымом с торфяника, то тут, то там на поверхность вырывается пламя, взметнется вверх — и снова скроется, темная жижа набухает, чавкает, пузырится, перебарывает огонь, но он все тут, надрывно и глухо, как ночной голос муэдзина, гудит в глубине.

Но передышку надо же использовать, и все они бросились, истосковавшись, в еврейский Иерусалим, где уже не стоят на каждом углу безжалостные солдаты пограничной охраны, где можно почти свободно, с выходящим смехом и громким разговором зайти в любой магазин, и продавщица не отшатнется в испуге как раньше, потому что вот здесь на Яффо, в магазине был взрыв, вместе с террористкой погибли еще две женщины — продавщица и покупательница, а потом в развороченном черном окне кто-то выставил бело-голубой флаг, и здесь, на углу Яффо и Кинг-Джорд, тоже был взрыв, я его видел по телевизору, а на противоположной стороне улицы смертник-боевик изрешетил пулями автобусную остановку, убив женщину и двух стариков, они ждали автобус, чтобы доехать до рынка, он совсем рядом, но лучше доехать, силы сэкономишь, все равно потратился, купил месячный билет.

Сажусь на каменную скамейку — их много на Бен-Иегуда — достаю купленную на днях книгу. Есть два часа до вечерней смены. Рядом садятся женщина и мужчина. Женщина — в шортах, с венозными белыми ногами. Она курит и говорит по-немецки, да, это немецкий, все никак не могу привыкнуть — уже не привыкну, память детства, все эти фильмы про войну с тревожным, страшным, каркающим звуком — к их речи. Но ведь и Герда говорила по-немецки, когда приехала более полувека назад в Иерусалим. Каждый день, торопясь по Невиим, я прохожу мимо распахнутых железных ворот и вижу в тенистой зеленой глубине стену ее дома. Когда она говорила по-немецки, люди на улице набрасывались на нее чуть ли не с кулаками. Герда не сердилась на них — она их понимала. Она не могла им рассказать, потому что не знала их языка, что бежала из Германии, оставив там старика-отца и брата с сестрой, они собирались вслед за ней, но успеют ли? Герды нет, она умерла.

Женщина подымается, бросает шекель в кружку, она стоит на тротуаре возле высокого тощего музыканта. Он едва помещается на складном